

У ВАС РАЗВЕ СЕРДЦЕ ОТ ЭТОГО НЕ БОЛИТ?

сборник рассказов



ЯНА ПАВЛОВА

Яна Павлова

**У вас разве сердце от этого
не болит? Сборник рассказов**

«Издательские решения»

Павлова Я.

У вас разве сердце от этого не болит? Сборник рассказов /
Я. Павлова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-938486-7

Сборник коротких рассказов о жизни маленького человека. Узнаете ли себя в девочке, чей единственный друг — деревенская печка; в мужчине, стоящем перед постелью умирающей матери; в женщине, которую преследуют призраки минувшего? В каждом из них есть немного нас. И всех объединяет одно — стремление к счастью. Получится ли?

ISBN 978-5-44-938486-7

© Павлова Я.
© Издательские решения

Содержание

Мамань	6
Печь	7
Темь	9
Таня	11
1. Поздняя ночь	11
2. Раннее утро	12
3. Утро. Больница	13
4. Утро. Дорога домой	14
5. День	15
6. Через несколько дней	16
Конец ознакомительного фрагмента.	17

У вас разве сердце от этого не болит? Сборник рассказов

Яна Павлова

© Яна Павлова, 2018

ISBN 978-5-4493-8486-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Мамань

– Мамань, – Петя замялся, – мамань, я тебе сказать хочу...

Женщина на постели вздрогнула. Её рот открылся, зашевелились губы, но слов не было слышно.

– Ты, мамань, руки-то соедини, – забеспокоился сын, – а то чего лежишь тут... как распятая. Давай, мамань, вот сюда, на грудь положи.

Глаза больной забегали.

– Знаю, знаю. Ненавидишь меня. Больше не трону.

Она замычала, хотела сказать, что в сердце нет больше места для ненависти. Только любовь.

– И думаешь, что я тебя ненавижу, – Петя присел на край койки. – А я тебя ненавижу.

Он смотрел в окно, отвернувшись от матери. Глядеть на неё, слышать стоны и полувздохи было невыносимо. В душу закралась гадливость.

– Ну, мамань, каково это, а? – сын пошёл в атаку. – Помирать одной? Небось, жалеешь, что меня выгнала? Хотя ты и жалеть-то не умеешь.

Петя сплюнул на пол.

– А знаешь, с чего началось всё? Что я тебя стал ненавидеть. Когда ты Муркиных котят утопила. В ведре, которое у меня в комнате стояло. Помнишь? Я ж на коленях тебя просил, я б нашёл, кому их сунуть, отдал бы, пристроил. Но нет, – Петя ухмыльнулся. – Ты не поверила. Куда мне, тупому, котят пристраивать. И утопила. А я в это ведро ходил тогда. И всё думал потом: а почему в моём ведре? Почему не в Машкином? И решил, что её ты любишь, а меня нет. Но кто ж тебя просил рожать, а, мамань? Зачем родила? А раз не нужен был я тебе, что ж не утопила? Разница невелика – что котёнок, что ребёнок. Бах в воду – и всё.

Петю захватила ярость. Что он говорит, о чём, зачем – всё было не важно. Гнев за погубленную жизнь шёл горлом.

– Теперь вот сама помираешь. Котят-то вспоминаются, нет? Я после того год слышал писки. Сплю, а тут мерещится, что пищат, я бегом на улицу – ищу, ищу. В крапиву по пояс сунусь – вдруг, думаю, спрятались. А потом понимаю: мёртвые ведь уже.

Сколько раз проговаривал он про себя историю с котятками, представлял, как станет бросать в лицо матери упрёки, как доведёт её – которая черствее хлеба – до слёз, как упьётся этими слезами, очистится через них.

Получалось нескладно и жалко. Петя чувствовал это и злился больше.

– Молчишь? Поделом. Наоралась уж за всю жизнь, – он тяжело вздохнул, сглотнул слюну, – ты погоди помирать-то. Не хочу я тебя хоронить.

Встал, смущённый неловкой лаской, вырвавшейся изо рта, и решительно подошёл к окну.

– Не хочу, – мотнул он головой и разозлился, – деньги, что ли, лишние? Ты обожди, я уйду, уеду, а потом помирай.

Нежданный всхлип взорвал больничную палату нежностью. По мужицкому рябому лицу катились слёзы.

– Я, мамань, не хотел так-то говорить тебе про котят. Про Машку. Она дочь твоя, тоже женщина – ясно, что к ней душа лежит. Я и не обижаюсь. Я жизнь прожил. А жизнь – она такая, всё по местам разложит, всё утрясёт. Мамань, – Петя вытер рукавом нос, резко вдохнул воздух и, боясь, что не сможет проговорить медленно, выпалил, – прости меня, мамань.

Комната наполнилась тишиной.

– Мамань? – позвал он. – Я ж люблю тебя. И всегда любил. Простишь, мамань?

Печь

– Мамочки нет. Она пошла искать мо-оре, – Леночка встала с лежанки, подошла к окну и, привстав на цыпочки, пропела, – Зима-а-а...

В центре комнаты сидела большая печь – белая в тёмно-серых подпалинах и с пустотой в пасти-зёве. Леночка потрогала бочок кирпичного монолита и вскрикнула:

– Ай! Печка! Ты чего такая холодная? Как у мамочки ручки... Но мамочка-то была русалкой. Ты тоже была русалкой, печка? А у тебя тоже есть печечка?

Печь – единственный свидетель непростой жизни Леночки – вздохнула: две женщины жили здесь. Одна – маленькая, светлая, почти прозрачная. Другая – тоже маленькая и прозрачная, с чистым, но порабощённым сердцем и исколотыми руками.

Приходя домой, мать забивалась в угол, привлекала девочку к себе, укрывала старинным одеялом и дышала ей в лицо певучими, красивыми словами:

– Я буду искать море, пока не найду, рыбка моя... Буду искать его каждый день...

А Леночка всегда отвечала:

– Я буду ждать тебя, мамочка, – и ждала.

Сегодня шёл четвёртый день, как мама ушла. «*Мо-оре*», – говорила Леночка, просыпаясь от холода. «*Тё-о-пное*», – шептала, укутываясь в одеяло. «*Рыбки много, можно каждый день кушать*», – сглатывала слюну. «*Мамочка принесёт ракушек, и мы пойдём на море жить вместе!*»

– Печка, смотри! – Леночка села перед ней, завернувшись в одеяло, и, заглянув в огромный печной рот, протянула ему руки. – Это вот ракушки. Я знаю, что они не настоящие, но цветные и блестят. Мамочка говорит, на море много ракушек. Я обязательно покажу их тебе, печечка!

Леночка перебирала позвякивающие бутылочки и вспоминала, как мама рассказывала про домового: «*Если слышишь шорох в кухне, не бойся: это домовый хозяйничает. Но не ходи на него смотреть. Нельзя*». Домовой съел всю их еду и сухарики, которые принесли «*добрые люди*». Он топал по ночам, не давая спать, и шуршал, шуршал, шуршал...

Леночка всё реже вспоминала бабушку, как пахло у неё пирогами с мясом, ухой и супами, когда жили все вместе, а у мамы были розовые и тёплые руки.

«*Рыбка моя, у мамы синие ручки, потому что она скучает по морю. А холодные они, потому что зима на улице, а у мамы рукавичек нет*».

Леночка вскочила и закричала:

– Печка! Пожалуйста, согрей маме ручки!

Одеяло упало с Лениных плеч. На ней не было одежды, только короткие шортики. Кожа сияла в темноте комнаты. Тонкая, высокая для своих пяти, худая, с выступающими спинными позвонками.

Печь ухнула.

– Ой! – Леночка вгляделась в огромный зёв. – Ты чего это? Горишь?

Печь разгоралась, набухала жаром, белела, сбрасывая облупленную штукатурку, как змеи сбрасывают кожу, и обростала цветущей вишней.

– Печечка! Родненькая!

Тёмная комната, несколько месяцев не видевшая тёплого света, наполнилась по-летнему жарким воздухом.

– Тёплая какая! – Леночка забралась на шесток, раздвигая жар ладонями, и закричала, – никакого моря не надо!

Обрадованная, девочка побежала к окну, выудила из тайного места опасный пакетик:

– Печка, смотри, иголки! Они мамины, она не разрешает трогать, но я трогаю, – Леночка протягивала печи старые шприцы.

Белое ласковое чудовище ухнуло.

– Мама лечится. Когда мамочке холодно и она дрожит, мамочка колется иголочками.

Печь – огромная, сияющая – белела и распухала. Кирпичи её казались резиновыми, растягивались, пропуская через себя красноватый свет. Печь рожала огонь – неопасный и мягкий.

Леночка поднесла шприц к правой щиколотке, упёрла иглу в коричневую сочащуюся корку и сказала:

– Но я знаю, что мамочке плохо от иголок. Они лечат, а потом делают плохо. Я часто забираю немножко боли у мамочки...

Став огромным шаром, печь предупреждающе свистнула – Леночка проколола кожицу – и шар лопнул.

Хлопнула дверь, и на пороге появилась измождённая, усталая женщина. Руки в синих прожилках держали луковый пирожок. Переступив порог, мама Лены стала преобразаться: кожа розовела и сияла, тусклые волосы начинали искриться, глаза синевели, как то море, на котором она никогда не была, а вместо одежды на ней появлялись вишнёвые цветы.

– Лена! Лена! – к тоненькой, прозрачной девочке подбежала столь же прозрачная – почти исчезнувшая – женщина.

Леночка лежала на полу, возле печи. Большим пузырьком торчал вздувшийся живот.

Вторая Леночка – светлая, искристая, с длинными жёлтыми волосами – была в огромном рыжем шаре света.

Вторая Леночка посмотрела на свою ножку и на ножку первой Леночки. На бледно-синей стопе объёмной, бордово-чёрной смертью зияла маленькая рана.

Ножка второй Леночки была чистая, розовая. На месте раны образовалась маленькая коричневая родинка.

Темь

Пятнадцать лет назад рассветное солнце ласкало Люборучкина Ивана Ивановича, чего не скажешь о его жене.

- Командировка у меня. Вернусь через три дня.
- А трусов зачем набрала?
- Я в одних должна ходить?
- А почему новые? Старых полно!

«Она носила старое бельё. Говорила, поедет к маме, дня на два. Говорила, что скучает по ней. А я нашёл в дорожной сумке красные стринги. При мне она их никогда не надевала».

Иван Иванович осмелился умереть душой и сердцем в тот день, но *«оказался до тошноты предсказуемым, поэтому пришлось воскресать»*. Он написал повесть *«О блудной деве»*, получил премию – и прошло 15 лет, за которые ничего не случилось.

Квартира темна, как темна ночь перед рыжим рассветом. Иван Иванович – кафкианская сороконожка с человеческим телом: он сталкивается с предметами и отскакивает от них, запоздало хватаясь за ушибленные места.

Люборучкин сталкивается с письменным столом – падают карандаши и книги. Падают рукописи – несколько десятков выписанных болью текстов. Люборучкин трёт глаза и чувствует, как дрожит кадык: *«О блудной деве»*, *«Сын не моей крови»*, *«Затворник в Сети»* и так далее, и так далее...

Жена покинула Ивана Ивановича. Сын Ивана Ивановича оказался сыном не Ивана Ивановича, а того, ради кого покинула Люборучкина супруга. Затворником Иван Иванович стал после этих – важнейших, читатель! – событий в его жизни, но лишь за одно из них ему дали настоящую награду.

Вот она. Смотри. Красная глянцева бумажка и тысяча рублей заламинированная – она из десятка, что Люборучкин получил. Десять тысяч рублей – такова нынче такса предательства.

А это новая рукопись, начата несколько месяцев назад. *«Коллекторша скользнула глазами по кухне. Обжигаемый её взглядом, таракан не удержался на потолке, упал на обеденный стол. Пётр Иванович дрогнул, заплакал: „Где же мне жить?!“»*

Надо сказать, женщина из коллекторской службы жгла взглядом не таракана, а Люборучкина. Если бы Иван Иванович бегал по потолку, то, несомненно, упал бы на пол. У женщины были губы ниточкой и очень жёлтые зубы – выпуклые, объёмные, коричневые по краям. Она пришла в застиранной фиолетовой кофточке и длинной бежевой юбке, делающей необъятные бёдра ещё необъятнее.

- Где же мне жить? – несколько месяцев вопрошал пустую квартиру Люборучкин.

А теперь люди в форме клеили на дверь Ивана Ивановича какие-то бумажки. Брезгливые женщины писали в блокнотах и спрашивали о чём-то.

– Где мне жить? – повторил Люборучкин, охнул и выхватил у рядом стоящей работницы социальной службы блокнот.

Иван Иванович кинулся наверх, в спину кричали, но не преследовали. Люборучкин бежал, улыбаясь, и что-то строчил.

Он споткнулся в пролёте между этажами и увидел рассветный город. Солнце толкнуло Люборучкина Ивана Ивановича. Пошатнувшись, он спиной ударился о стену и почувствовал, как рыжий горячий свет вошёл в его грудь, стал его кровью и, сметая страх, ворвался в сердце.

Глаза слезились. На Люборучкина впервые за последние годы падал рассыпчатый солнечный свет.

Таня

1. Поздняя ночь

– Танюш, воды. – Страшный голос хрипло проник в сон. Таня видела чудовище: чёрная огромная тень надвигалась на неё, но вдруг упала и захрипела: «Воды!», а потом завопила, раскрыв розовую пасть с дрожащим в глотке язычком...

– Тань! Тань! – кричала бабушка. – Вставай!

Дед на жёлтой постели бился в судорогах.

Лохматая, в задравшейся сорочке, Таня стояла испуганная и шептала:

– Скорую? Скорую?

Бабка суетилась, мешая, звала бригаду пить чай, каждого из них знала лично, ибо всю жизнь работала в медицине, только судебной. Она дёргала приехавших за халаты, причитала: «Как же я одна?! Я же одна не смогу! Спасите его-о!», а потом бросалась к фотографиям с чёрными лентами и молила сурового черноволосого мужчину: «Меня заведи! Меня!» Бабке налили воды в тёплый стакан, дали таблетку. Таня вжималась в кресло, обнимала свои колени. Плакала.

Деда увезли.

– Помолись, Танюш?

«– Жить будет? – Будет». Таня всё пыталась посмотреть ему в глаза, но видела лишь закатившиеся зрачки. «Умрёт, – думала она. – И я никуда не уеду. Потому что если уеду, то умрёт и бабушка».

«Не уедет, останется», – бабка скрыла улыбку, повернувшись спиной к внучке. Луна светила в её лицо. Располневшая, расползающаяся по швам, в ночной сорочке до пят и узкой косой едва ли не ниже пояса, бабушка стояла в свете луны, глядела на неё и морщилась: «А всё-таки нехорошо...»

«Сейчас улетит», – подумалось Тане.

2. Раннее утро

Принесли молоко, поставили в печку. Раньше бы Таня бегала заглядывать: плёнка появилась? Чуть кисловатая, но такая вкусная! Пальцы продашь – душу оближешь.

Сегодня Тане не хотелось ни молока, ни бабкиной доброй ругани.

– Пошли к деду?

– Пошли, – весело согласилась бабка.

– Ты почему такая счастливая?

– Чего? – спохватилась та. – С чего это?

– Вот и я говорю: с чего это?

– Так... – бабка посмотрела сначала на часы, потом – на стол, после моргнула несколько раз и скользнула взглядом по Тане, – позвонили б... Ну, если б... Если б того...

– Ладно, – Таня вздохнула, – пошли.

На улице свежело: пахло тающим снегом, слякотью и морозом, переходящим в весну. Пели птицы, и Тане страшно хотелось жить. Проснуться в одном из тех городов, что изображают на открытках: миллиарды живых огней в ночи. Проснуться в надышанной солнцем веранде, видеть пылинки в столбцах света, падающего из окна, выйти во двор, вдохнуть нарождающуюся зелень, раскинуть руки, расхохотаться.

3. Утро. Больница

Дед был бодр и играл с мужиками в карты. К врачам пошла бабка, а Таня присела на краешек больничной койки и, не смотря в лицо деда, тихо сказала:

– Останусь.

Прощай, мечта! Остаётся дышать молодой весной, смириться и жить, жить, жить. Ведь живут же и вроде неплохо. А воздух какой! Ну, бывают ли в городах такие?

Таня стёрла блестящие слезинки и повернулась к деду, вскочила:

– Деда! Тебе плохо?!

Мгновение назад бодрый, здоровый и полный какого-то дедовского счастья от игры в карты, от мужиков, пропахших рыбой, от любимой внучки, дед стал серым: лицо помертвело, с глаза стекла полусухая слеза и теперь поблёскивала у подбородка в тусклом больничном свете.

– Так чё ж, плохо, что ль, у нас? Мы ж живём, аль нет? Живые же мы, что ты нас... Похоронила, что ль? Ну, деревня, ну и чё? Тебе-то чё надо? Еда есть, здоровая, своя. Рыба, вон, грибы скоро пойдут, ягода... Я ж позавчера двух окуньков словил, а на той неделе... Неужель не помнишь? Хорошо ж у нас, Тань, – дед вздохнул и грузно встал с койки. Он держался за поясницу и распрямился не сразу, будто с натугой, и только сейчас Таня осознала, насколько стары её старики.

4. Утро. Дорога домой

Назад шли молча. Таня пинала резиновым сапогом камушек. «Больно тебе? – вопрошала она. – Мне тоже больно. Я терплю, и ты терпи», – камень подбросило вверх и уронило в лужу. На тёмных домашних лосинах появилось несколько грязных капель.

Таня хотела смотреть на небо, но небеса в этот день были настолько синими, что резали глаз, и смотреть можно было только на линию горизонта – справа протянулась блестящая полоса, слева – чёрно-серая. Волга и лес.

Волга... Приходи летом: острокаменистое дно, скользкое, как будто тысячи улиток умерли на дне реки, чтобы люди по нему не ходили. Заплывёшь – и ряска, ряска, ряска. Много ли красоты? Но – от чего? от кого? – есть же любовь! Волга? – Моя! Волга? – Люблю! Почему? За что? – Да Бог его знает...

Полная живительными мыслями, Таня заметила городского мальчика Никиту, приехавшего на каникулы к бабушке: высокий, семнадцатилетний и такой стильный, что и первая модница на весь посёлок чувствует себя деревенщиной, стоя с ним.

А Таня... Сапоги в грязи, лосины вытянулись на коленях, куртка огородная, рабочая, пузырится...

– Привет, – покраснела Таня.

Откуда было ей знать, что эти сапоги, куртка, лосины и чистое лицо смешны для городских ребят. Таня! Танюша! Они не любят девчонок, они излюбляют! И ты не скоро поймёшь, от какой беды упасли тебя сапоги да куртка. Мальчик со смехом прошёл мимо.

– Это кто? – спросила бабушка.

– Никто! – закричала Таня и побежала.

Вперёд, к речке! К блистающей Волге! Чувствовать свежесть текучей воды, дышать и плакать, а ветром слёзы снимет, – и будто не было их: сохнут, едва появляясь. Прибежать на пирс, забиться в нишу между камнями, над берегом, над бежевыми барашками волн. Протяни руку – коснёшься деревьев.

5. День

Бабка знала: в дела любовные лезть себе дороже. Глядя, как Таня волчком вертится у зеркала и хмурится, бабка хмурилась тоже: «Как мать! Точно как мать! Такая же красивая, такая же дура вырастет, – задумывалась на мгновение и добавляла, – а дай Бог, так и не дура».

Таня щипала бока, груди, морщилась от боли и тоски, тёрла щёки. Бабка не выдержала:
– Чё глаза-то краснющие? – и уже мягко, – ну хочешь, пойдём купим тебе на базаре чего?

Кофточку, там, юбочку...

Таня рявкнула:

– А ты деду звонила?!

Бабка, растерявшись, перепугалась:

– А чего?

– Да ничего! Он любит тебя! Всю жизнь любил! А ты! Ты! Дура! – из глаз Тани летели злые слёзы. – Не любишь его! Он умирает, а ты весёлая! Дура ты, поняла!

Таня бухнулась на пол, ударилась головой о трельяж – он обиженно зазвенел.

Бабка смолчала, ушла на кухню, переступив через длинные Танины ноги, чем-то загремела. Вынесла чай в стакане с подстаканником и сунула его во внучкины руки, обняла за плечи:

– Всё пройдёт, – уверенно и тихо сказала она.

– Как с белых яблонь дым? – улыбнулась Таня. Чай обжигал ей ладони.

6. Через несколько дней

– Деда выписывают! – бабка мыла полы, в доме пахло снегом и хлоркой.

Таня чихала. На веранде стоял огромный сундук: кое-что в нём принадлежало родне, кое-что попало сюда случайно. Больше, чем вещи, Тане нравился только запах: истлевшие книги, разваливающиеся от прикосновений – у них страницы хрупкие, как крылья у бабочек. Таня заглядывала в сундук много раз, но всегда находила в нём что-то особенное.

Прапрабабушкино платье, севшее на Таню как литое.

Прабабушкина рубаха, в которой Таня теперь спала.

Бабушкины тетради со старательно выписанными стихами неизвестных поэтов.

И материны бусы, которые Таня однажды спрятала в носок, чтобы не разбить, и никогда не доставала.

Решив уехать, Таня положила в сундук исписанную юношескими волнениями тонкую тетрадь и два цветастых пояска, сделанных на заказ местной портнихой. Грела мысль, что её дети так же, как она сама сейчас, будут копаться в сундучище, выуживать миллион мелочей, скопленных целыми поколениями Березиных, дышать запахом семьи, пропитываться им и нести, нести его дальше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.